

Владимир
Максимов

ЖИВ ЧЕЛОВЕК

ПЕРВАЯ КНИГА МОЛОДОГО ПИСАТЕЛЯ

**ВЛАДИМИР
МАКСИМОВ**

**ЖИВ
ЧЕЛО-
ВЕК**

ПОВЕСТИ

**ИЗДАТЕЛЬСТВО
ЦК ВЛКСМ
„МОЛОДАЯ
ГВАРДИЯ“**

1964

В первой книге молодого талантливого прозаика Владимира Максимова две повести: «Мы обживаем землю» и «Жив человек».

В. Максимов пишет о людях трудной, даже тяжелой судьбы. Герой повести «Мы обживаем землю» — бывший детдомовец Виктор Суханов уходит со стройки в глухую тайгу вместе с разведывательной группой. В борьбе с суровой природой из разных, даже недобрых, людей выковывается хотя и маленький, но жизнеспособный и стойкий коллектив. И у молодого героя наступает духовное прозрение, крутой и коренной поворот в судьбе. Пройдя тяжкие испытания, он убеждается, что люди, даже такие трудные, лучше, красивее и благороднее, чем он думал о них.

В центре повести «Жив человек» образ заключенного Сергея Царева. Жизнь его с юных лет пошла по косогорам и буеракам, и все вниз и вниз. Он бежит из заключения; обмороженного, беспомощного подобрали его в тайге, выходили, и он остался жив. И, самое главное, в нем вопреки горькому неверию и цинизму, чуть не отравившим его молодое сердце, оживает человек.

Максимов Владимир Емельянович

ЖИВ ЧЕЛОВЕК. Повести. М., «Молодая гвардия», 1964.

104 с.

Редактор К. Токарев

Художники Ю. Владимиров, Ф. Терлецкий

Худож. редактор Н. Печникова

Техн. редактор В. Савельева

А04192. Подп. к печ. 27/IV 1964 г. Бум. 84×108¹/₃₂.

Печ. л. 3,25(5,33). Уч.-изд. л. 4,8. Тираж 65 000 экз.

Заказ 138. Цена 14 коп. Т. П. 1964 г. № 187.

Типография «Красное знамя» изд-ва «Молодая гвардия».
Москва, А-30, Сушчевская, 21.

**МЫ
ОБЖИ-
ВАЕМ
ЗЕМЛЮ**





Знаю ли я людей...

М. Горький

І. КОЛПАКОВ

Пятый день подряд по крыше нашей палатки шарают дожди. Правда, «день» в этом углу земли, где светораздел измеряется полугодиями, понятие весьма и весьма относительное, но мне от того не легче, скорее наоборот. Обложенная со всех сторон монотонным, выматывающим душу шуршанием, голова час от часу тяжелеет и тяжелеет, будто наполняется теплым сыпучим песком, а устойчивый серый свет двух палаточных окошек отбивает всяческую охоту спать.

В палатке нас трое. Димка Шилов — тридцатилетний парень из амнистированных, флегматичный представитель того типа людей, к именам которых серьезная степень не приживается до старости, Тихон Лебедь — «вечный вербованный» из-под Вологды и я. Здесь, в Верхнереченске, мы ожидаем своего будущего начальника, что поведет нас по таежной речке Нейниче определять места будущих стационарных баз экспедиции и рубить на них времянки. Но пятые сутки на исходе, а мы, так сказать, еще не сообразовались в «спаянный соцколлектив» по причине своей бесхозности.

Я завидую Димке. Он просыпается только за тем, чтобы отхлебнуть из фляжки, которую кладет вместо подушки под голову. При этом Димка всякий раз недоуменно и вроде бы даже обиженно разглядывает мутными, заспанными глазами сначала меня, потом Тихона: откуда это, мол, еще народу такая прорва? Затем голова его снова падает на заветную фляжку, и парень засыпает, заставляя нас думать

о нем все, что нам будет угодно. Не живое существо — кусок флегмы.

Тихон — человек другого и, я бы даже сказал, особого склада. Большую часть времени Тихон занят тем, что обшивает свой вещмешок карманами и карманчиками разной величины, куда рассовывает жестянки, коробочки, пакеты. Говорит Тихон редко и с явной неохотою, словно забытый долг отдает: отсчитывает энное количество, помолчит, вроде прикидывает — не много ли! — добавляет словца два-три. Слушая его, кажется, что и душа у Тихона вроде личного вещмешка — вся в гнездах-зачаках — и в каждом по словцу, по мыслишке. Поэтому разговаривать с ним что у скупца кредитом пользоваться, разве лишь по необходимости.

Я слежу за ловкими, расчетливыми движениями короткопалых Тихоновых рук и пытаюсь сосредоточиться, собрать воедино на худой конец три-четыре фразы, чтобы сесть за письмо Аркадию Петровичу — своему детдомовскому воспитателю. У меня с ним уговор: раз в три месяца — письмо. «Можно бы и чаще, Витек, но мы же мужчины, и три месяца — это по-божески». Четыре с лишним года, минувших с того дня, когда я перешагнул детдомовский порог, правило не знало исключений. Но этот раз моя совесть дает трехнедельную течь. В который раз я царапаю на листке в косую линейку: «Дорогой Аркадий Петрович!..» Но скомканные бумажки летят и летят за окно, а письмо все не собирается. Оно и понятно. Во-первых, мы условились с Аркадием Петровичем, что я буду писать только о самом интересном и значительном, но ни того, ни другого за эти неполные четыре месяца в моей жизни не произошло, а во-вторых — дождь... Нет, по-моему, это никогда не кончится.

Входной полог поднимается, и в серый квадрат обнаженного неба, как в портретную рамку, врезается остроскулое, со щетинистым подбородком лицо в ореоле брезентового капюшона.

— Живы? — Гора мокрой парусины втискивается в палатку. — Здорово живете!

У Тихона на начальство чутье безукоризненное.

— Засохли без дела, — мелко суетится он, — прямо гибель... Право слово.

Гость коротко взглядывает на него маленькими колкими глазками и тут же отворачивается, кивая в сторону Димки:

— А это что?

В Тихоновых глазах блуд, тяжелый собачий блуд. Я молчу. Собственно, все понятно и без слов. Человек в брезенте одной рукой резко опрокидывает Димку с боку на спину, а другой захватывает флажку. Нюхает не морщась.

— Наш, рыбокопский. Девяносто шесть ноль-ноль... Так вот, уважаемые, с нынешнего часу эта штука — только по моей команде. Ясно?

Димка таращит на диковинного гостя заспанные глаза, слова складывает пьяные, первые попавшиеся:

— Много вас, командиров... Не наздравствуешься... Полегче бы на поворотах...

А Димкин спирт уже впитывается в землю у гостьева сапога.

— Я Колпаков. Поступаете под мое начало. Я вам теперь бог и царь и, так сказать, герой. Завтра в четыре чтобы как штык. Выходим. Тары-бары после. Дорога длинная, наговоримся.

Последние слова доносятся в палатку уже снаружи.

— Строгий дядька, — уверенно определяет Тихон, — не забалуешься... В дугу согнет.

Димка трет заросшую щеку.

— Рассолу бы сейчас...

Я принимаюсь за письмо. В который раз.

II. ПИСЬМО

Честно, только честно.

«Дорогой Аркадий Петрович! Трехнедельное опоздание за мной. И хотя вы не признаете никаких оправданий, на этот раз у меня уважительная при-

чина: полнейшее отсутствие интересного и значительного. Новость одна: со строительства я ушел «по собственному желанию». Но ведь этим вас не удивишь. Из двадцати моих посланий к вам добрая половина помечена новым почтовым адресом. Носит меня по свету, и не ведаю я, будет ли сему конец когда-нибудь. Все, за что бы я ни брался, увлекает меня только поначалу, а потом тоска наваливается мне на душу, и я бегу от нее, бегу куда глаза глядят, чего-то ищу и не нахожу. Милый вы мой Аркадий Петрович, на расстоянии откровенным быть легче, да и трудно мне сейчас отказывать себе в мстительном удовольствии трезво хамить. Даже вам. Простите, но мне кажется нынче, что я по крайней мере вдвое старше вас. Действительность в несколько месяцев смяла, раздавила удушающей своей обыденностью все мои логические умозаключения о ней, выношенные мной в долгих и таких, казалось бы, беспощадных разговорах с вами. И самое смешное и горькое в том, что я не могу сказать о ней, об этой действительности, избитую банальность, вроде: «Все жестче, все проще». Дай-то, говорят, бог, чтобы так случилось! Ведь вы и не готовили меня к праздничному маршу по жизни. Уходя из детдома, я уже знал, что такое заработанный хлеб. Я был готов к самому сложному, к самому трудному. Но трагедия в том, что жизнь оказалась не сложнее, а мельче, упрощенней, чем представлялось мне до поры. Она выматывает силы не борьбой — борьбы нет, — а жутким своим унижительным для человека однообразием. А люди! Господи, я плевал на героев, героев выдумывают плохие писатели, но хотя бы одна уважающая себя особь! Язык не поворачивается сказать о таких: «Борются за существование». Они не борются, они просто-напросто копошатся в собственной грязи, посильно оттирая ближного своего от корыта бытия. Семейное сожительство называется у них любовью, житейская изворотливость — мудростью, павианье чванство — гордостью. Вы, конечно, усмехаетесь: вот, мол, еще одна триллион первая трагедия личности. Пронеси судьба стать очередной

жертвой «земли несовершенства»! Я несколько не лучше, а скорее всего хуже прочих, хотя бы тем, что испорчен печатными бреднями вселенских шизофреников. Наверное, поэтому среда и выталкивает меня, как чужеродное ей тело... А впрочем, к дьяволу философию! Надоело. Просто я не состоялся.

Короче: я запродавал себя на Крайний Север. Будет что будет. Так сказать, ближе к природе-матери. Сейчас нахожусь в Верхнереченске. Пятые сутки льет обложной дождь. В нем я, кажется, растворяюсь и сам становлюсь слякотью. Соседи довольно сносные. Сиречь — не докучают. Один — бывший уголовник, пьет от самого Красноярска, общаясь с бранным миром только через бутылочное горлышко. Другой — рябой вологжанин лет сорока — занят самоснабжением. Сегодня познакомились, наконец; с непосредственным начальством. Еж в брезенте с человеческой фамилией Колпаков. Большого в нем разглядеть не удалось. Малость кокетничает своей таежностью. Завтра трогаемся с ним в путь. Вот и все. А вы говорите: «Каждые три месяца». В таком мире две жизни проживи — на одно сносное письмо стоящих событий не наберется.

Не обижайтесь на меня, дорогой Аркадий Петрович. Ведь вы же просили: «Честно, только честно». Вот и получайте. Но главное не это, главное — вы сами, главное — вы есть, а куда вам быть, мне еще покупать конверты. А это очень важно, конверты.

Без тривиальностей. *Ваш Виктор Суханов.*

III. МОРА

Я просыпаюсь от резкого, бьющего прямо в глаза солнца. Оно круто и первозданно, как невзболтанный желток. Я, словно ссохшаяся губка, впитываю каждой порой своей эту праздничную благодать, и она пронизывает меня странной до удивления легкостью. А в душе такая бездомная невесомость, что и сам себя я начинаю видеть только маленькой светящейся частицей чего-то огромного и непостижимого,

этаким крохотным солнцем. Подобными утрами жизнь кажется вечной и доброй волшебницей.

Среди этой чуть ли не осязаемой торжествующей тишины голос Тихона почти неправдоподобен:

— Не ко времени ведро. Мошка задавит... Гнус то есть.

Он уже сидит на перехваченном ремнем спальном мешке, зажав коленями свой уникальный рюкзак.

Димка, стоя, уныло высасывает из банки консервированных абрикосов последние капли сока:

— Жизнь!.. Ни тебе выпить по-человечески, ни похмелиться... Тоже мне Крайний Север!

Я едва успеваю выпростаться из мешка, а от входа уже ошестинивается в мою сторону резкое колпаковское лицо.

— Прохлаждаешься, паря? Заруби: санатории через три года, а куда — работа... Давай на берег!

Начальник исчезает, а я, натягивая сапог, зло огрызаюсь ему вслед:

— Двигай, дядя, дальше, сами по миру ходим.

Тихон, уже перешагнувший порог, испуганно оборачивается. Тусклое, в крупных рябинках лицо его в белых пятнах.

— Ты кому говоришь, малый?

— Да пошел ты!..

Полог, упавая, как бы смахивает с дряблых Тихоновых губ недобрую усмешку. Смахивает, и она остается наедине со мной — серая и вязкая, как паутина. Мне становится не по себе. Я ругаюсь вслух:

— Дубина вологодская. Сволочь!

Димка, потягиваясь, зевает.

— Брось. Надо будет — мы его по кочкам проволоком... Двинули, что ли?

Я для него «свой». На правах детдомовского. В том есть резон, и в конечном счете меня это устраивает.

По осклизлым мосткам мы гуськом двигаемся к берегу. Димка, то и дело спотыкаясь, матерится на чем свет стоит, проклиная свою судьбу, а заодно

и потребительскую кооперацию, которая «неизвестно когда только и работает».

По речному зеркалу будто дыханием кто-то прошелся: легкий налет тумана. Река так неподвижна, что, думается, святым станешь, пойдешь по воде, словно посуху. А тайга, подступившая здесь к самой воде, схожа со сказочным войском при переправе: идет и идет себе прямо под воду, выбираясь на другой стороне сухим и столь же несметным.

— Смотри, — Димка толкает меня в бок, — Мора*.

У лодочного причала разговаривает с Колпаковым, попыхивая трубочкой, всамделишный цыган в брезентовой робе, заправленной в новенькие резиновые сапоги. Цыган улыбочиво доказывает начальнику:

— Жалеть, Трифанавич, не будешь. Залатые у девки руки. Ей-бо, залатые. Все умеет, чалдонка она, Трифанавич, чалдонка.

Колпаков морщится.

— Так ведь баба, Сашко! Ты рассуди своей забубенной башкой. Баба в тайге, а нас пятеро, один одного лобастей... Подведешь ты меня с кралей своей под монастырь.

— Не простая баба, Трифанавич, — вздыхая, улыбается цыган, — чалдонка, аднака.

Колпаков только рукой машет — шут, мол, с тобой, — и к нам:

— Вас вроде сам черт одной веревочкой связал! Вот, — он кивает на одну из трех причаленных к берегу лодок, — располагайтесь. Будьте, так сказать, как дома.

Я собираюсь было снова огрызнуться, но Колпаков уже около Тихона.

— Пойдешь со мной в паре вот на этой. И учти...

Я поворачиваюсь к Димке и не узнаю его. Сонный, помятый еще за минуту перед этим, парень преображается на глазах. Все в нем — рослая, но несколько оплывшая фигура, лицо, даже самый

* Мора — цыган (жаргон).

взгляд — как бы расправляется, светлеет, делается четче, приобретает законченные очертания, словно в отпечатке под проявителем. В куске камня пробуждается скульптура. А чудодейственная ваятельница метрах в трех от своего произведения сидит себе на борту мужниной лодки, кедровые орехи пощелкивает и усмехается, усмехается одними уголками обветренных губ. Небольшого роста, скуластая, с крепким кержацким подбородком, она как лиственница на отлете: и похожа и в то же время не похожа на своих подруг пронзительной своей обнаженностью. Телогрейка на ней ловко перехвачена кокетливым зеленым ремешком. Из-под надвинутого на самые брови платка смотрятся в мир два тихих омутка с дурными чертиками в самой глубине.

Димка с пристальной задумчивостью глядит на девку, а ей до него вроде бы и дела нет: взглянет коротко этак в его сторону и отвернется, взглянет и отвернется. Только летит ореховая шелуха в отуманенную воду. Летит и тонет.

Я тяну Димку за рукав.

— Хватит, сглазишь. Бросай мешок.

Колпакову же на всякое дело времени дано вполнину против обычного.

— Первая стоянка на Хете. Возьмем инструмент и харчи. Остальное — потом. Ясно?

Не ожидая ответа, он легко сталкивает лодку с отмели и прыгает на корму.

— Не растягивайся!

В несколько взмахов Тихон выводит головную лодку на стрежень. В двух веслах от него — Мора. Выгребая за начальником, цыган широко улыбается нам и подмигивает:

— Поехали! И-ех!

Усаживаясь на веслах, Димка, словно про себя, раздумывает:

— Какая... легкая... Толкай!

— Чужая ведь.

Мгновенно парень с вопросительным недоумением глядит на меня, словно определяет: стоит ли отвечать? Затем говорит коротко и беззлобно:

— Дурак.

И делает первый мах.

А мне почему-то становится обидно за цыгана. Хотя, впрочем, ну их всех к чертовой бабушке!

IV. ТРЕВОГА

У проток звериные повадки. Тихой заводью отплескивается протока от основного русла. По-росомашьи неслышно крадется она меж отлогих песчаных берегов все в сторону и в сторону от реки-пра-родительницы. В пути протока начинает задавать загадки, то и дело расходясь надвое. Стоит однажды не угадать, каким рукавом пошло коренное течение, и останешься в конце безымянного ручья, исчезающего в болоте, лицом к лицу с тысячеверстной тайгой.

Только Колпакову, видно, вся эта мудрость вроде таблицы умножения: ночью разбуди — отдиктует назубок. Протока под ним, как обьеженная лошадь, смирна и послушна. Кажется, не протока Колпакова, а Колпаков протоку ведет, время от времени сдавая ее с руки на руки в неостывающие ладони материнского фарватера.

Четвертые сутки движемся мы в сторону Кандымского порога, перед которым нам предстоит рубить первую времянку. А сколько их, этих времянок, последует за первой, известно только господу богу да Колпакову.

Четвертые сутки солнце выписывает по небу диковинные зигзаги — от горизонта до горизонта, упорно не желая скатываться в другое полушарие.

Трое оставшихся позади суток не были отмечены сколько-нибудь заметными событиями. С Димкой у меня устанавливаются довольно своеобразные отношения. Большую часть пути мы молчим. Это, по моему, устраивает нас обоих. Я занят своими мыслями, он — тоской по спиртному. Димка умеет извлекать «градусы» из всего, казалось бы, абсолютно безалкогольного. Благодаря ему я уже на вторые сутки пути остаюсь без одеколona, зубного порошка

и содержимого аптечки. Сейчас парень томится по последней пачке чая, которую я берегу на всякий случай вместо лекарства.

— Тоже мне татарин! Кому бережешь, зачем бережешь! Ты сам посуди — чай! В нем же ни сала, ни витаминов... Говорят, даже вредно для сердца... Голова как колокол: трону — гудит...

— Не глотай дряни.

— Пижон. Ты пил чего-нибудь крепче кваса?

— Не вижу смысла.

— Умник! Во всем смысл ищешь. А вот в нашем доме поэт живет, стихи к праздникам пишет. О солнце там, о счастье, о полноводной жизни тоже подпущено. В общем то да се, лучше, мол, некуда. А сам по неделям в квартире запирается и... В общем дядя Вася, дворник наш, считай, на его бутылки троих детей в люди вывел... Это как понимать, а? Вот тебе и есть смысл. А то рассуждаешь. Пижон!

Возражать Димке бесполезно. В ответ он приведет еще дюжину таких примеров в полной уверенности, что правота его в более стройной логике не нуждается. Разговор угасает. И в то же мгновение шум — еще неясный, почти призрачный — начинается ветровыми волнами накатываться на нас. Скорее это даже еще не шум, а неотвратимое, как сумерки, нарастание далекой, но грозной тревоги. С каждым взмахом весел она все отчетливее и объемней. И вот с головной лодки над протокой взлетает сиплое колпаковское:

— Причали-вай-ай! Кан-ды-ым!

Я сушу весла.

V. ХРИСТИНА

Между солнцем и горизонтом — расстояние с ладонь плашмя, а первая лиственница уже перечеркивает верхушкой утреннюю синеву от зенита до береговой гальки. Колпаков с силой вгоняет в кобель топор.

— Ну, так сказать, с богом!

На лесоповал становятся Тихон и Димка. Я от-

хожу за подручного к Море. Единственной нашей женщине достается стряпня, а Колпаков, как всякое начальство, на подхвате, то есть там, где тонко.

Работать с Сашко легко и споро. Я сам плотник пятой руки. Мне довелось плотничать на добром десятке строек, встречать стоящих мастеров, но равных этому кудеснику видеть не приходилось. Топор как бы вливается в его смуглую ладонь, обретает в ней плоть и кровь, начинает чувствовать душу дерева. Лесина под его инструментом становится податливой, чутко повинуюсь малейшей воле мастера. Орудуя топором, цыган то и дело качает головой и улыбается, словно каждый раз открывает для себя в дереве что-то новое и удивительное. Так, наверное, работают художники.

После третьего венца Мора поднимает накомарник, рукавом смахивает со лба соленую изморось.

— Куришь?

— Нет.

— Все равно садись, курить будем. Какая ж работа без перекура!

— Красиво это у тебя получается... С топором.

Закуривая, Мора довольно жмурится.

— Трифанавич учил.

— Так он и плотник?

— Трифанавич? Да у него руки из чистого золота. Ты спроси, чего Трифанавич не может. Все может. Не смотри, что зверем ходит, душа у него из чистого золота.

— Не человек, значит, а ходячий самородок.

— Мала «хараший человек» сказать — залатой человек. Он меня в Красноярске падабрал, в люди вывел, к делу приставил... Усох, аднака... Жена у него памерла... Маргарита Андреевна... Тайга забрала... Андреевна.

— И тайга-то у тебя вроде живая...

И сразу чайный настой цыганова взгляда густеет, замешанный тревожной сторожкостью.

— И-е, ты ее, малый, не знаешь, тайгу... Глядишь, лес да и все... А она дышит... Только слушать нада.

Мора умолкает. С высокого берега, на котором мы ставим времянку, зеленая с бурыми подпалинами щетина тайги видится далеко-далеко, и, если, не отрываясь, долго смотреть поверх нее, кажется: она и впрямь дышит, возвращая набранный огромной грудью воздух белесым маревом над горизонтом.

Голос у Христины грудной, низкий:

— Обедать, работнички!

Аромат распаренных консервов отвоевывает береговую полоску у запахов леса. Мы рассаживаемся около костра, а Мора, помогая жене, суетится вокруг нас.

— Гаварил, Трифанавич, не пожалеешь. Залатая девка, все может... Рыбы налавлила, а бед саделала... Мотки-шмотки пастирала. Залатая девка.

Колпаков только хмыкает неопределенно, но, по моему, не без одобрительности. Тихон ест истово, будто священнодействует. Зачерпнет ложку каши, обтрясет ее малость над котлом, подопрет ломтем и отправляет в рот, как именинницу на люди. Для Димки же еда вроде обязательной повинности. Он вяло скатывает в ладонях хлебные шарики, обпекает их со всех сторон на угольях и хрустит ими до самого конца обеденного таинства, после чего, обернувшись в палатку, заваливается под самым берегом спать.

Когда мы кончаем с едой, Колпаков уходит, как он говорит, «примериться» к порогу. Тихон увязывается за ним. А цыган предлагает мне:

— Идем на гусей!

Озер в тайге, близкой к Северу, великое множество. Тысячи их вкраплено подсиненными блестками в ягельные короны лесотундры. Веками садятся здесь гусиные станицы линять и набирать жира для нового пути. Саженный слой птичьего помета придает берегам этих озер пружинистую упругость. Я хожу с Морой от воды к воде, а он все тянет и тянет меня вперед.

— А-а! Пашли, пашли... Лучше есть, краше.

Однажды я вскидываю ружье: из камыша навстречу нам режет волну пестрая кряка в сопровож-